

# Западный перенос



Родион  
Мариничев

**LOTTE РУС**  
HOTEL & CONFECTIONERY



ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ  
«ЛИЦЕЙ»  
ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА  
ДЛЯ МОЛОДЫХ ПИСАТЕЛЕЙ  
И ПОЭТОВ

Rideró

# Родион Мариничев

## Западный перенос

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=42623532](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=42623532)*

*ISBN 9785449685087*

### Аннотация

«Западный перенос» – фантастика, альтернативная история, отгалкивающаяся от Второй мировой войны и её последствий. Действие происходит в 2017 году в современной России, которая прошла этап оккупации, разделения и воссоединения. В центре – московская семья, члены которой выросли по разные стороны демаркационной линии. Разный менталитет и до сих пор не преодоленный национальный раскол в конце концов приводят к окончательному семейному разладу. Книга содержит нецензурную брань.

# Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

54

# Западный перенос

## Родион Мариничев

© Родион Мариничев, 2019

ISBN 978-5-4496-8508-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

1

Очередь движется быстро, и тележка почти равняется с длинной лентой кассы, заваленной бутылками с водой, нарезками ветчины и сыра, огурцами-помидорами, пачками с хлебом, брикетами йогуртов, «букетом» мужских носков...

– Я же говорю: сначала выкладывай тяжёлое, а ты с хлеба начинаешь! – Марина швыряет на ленту пластмассовый разделитель и выуживает со дна тележки полуфабрикатные шашлыки в пластмассовом ведёрке. – Срок годности посмотрел?

– А творог тебе зачем?

– А ужинать мы чем будем? В холодильнике шаром покати...

«Хромая» тележка со сломанным колесом качается, словно попавший в бурю баркас.

– Твою мать, ещё и тележку ущербную полчаса катали! Не мог нормальную взять!

Голос у Марины низкий, даже чуть грубоватый. Завелась, как перегретый «Жигуль», – вот-вот взорвётся.

– Да какая разница?! Всё равно ты потом всё это по пакетам распахивать будешь! И шашлыки лучше оставь, пока не поздно. Я же говорю, – они стухнут в дороге!

У Глеба, когда он на взводе, голос, наоборот, высокий, тонкий. Кажется, ещё немного – и этот широкоплечий мужик с пятидневной щетиной запоёт.

– Прежде, чем, как ты говоришь, «распахивать» по пакетам, всё нужно снова сложить в тележку и быстрее отойти от кассы, чтобы очередь не задерживать! И в итоге ты сначала побросаешь помидоры, которые тебе посчитают первыми, а потом прижмёшь их консервными банками!..

«Больное» колесо не выдерживает и отваливается. Марина хватает тележку за край.

– Тебе бы такой логичной быть, когда ты Сашку на переднее сиденье сажала... – Глеб уже начинает сбавлять обороты и опускать голос в более привычную, низкую октаву.

– Заткнись! – по-солдатски почти мужским тембром отчеканивает Марина.

– Держи себя в руках!

Она хватает из тележки пакет со свежайшим развесным творогом и швыряет Глебу в физиономию, отчего он становится похожим на Деда Мороза. Марина поднимает руки ко

рту, как испугавшаяся девочка. Отплёвываясь, Глеб подаётся вперёд к жене, натывается на тележку и опрокидывает её. Прежде, чем успевают подбежать охранники, по полу раскатываются помидоры, растекаются вывалившиеся из прорванных ячеек йогурты, закатывается под кассу пластмассовая миска с шашлыками, а банка со шпротами отъезжает куда-то вдаль и там, наткнувшись на что-то, кружится, словно кольцо от пирамиды, и со звоном замирает.

– Девушка явно с юга! – наслаждается зрелищем очередь.

– Скорее даже с Востока!

– А парень северный, блондин!..

– Вернёмся из отпуска, – разойдёмся на все четыре стороны! Сопротивляться бессмысленно, – тяжело дышит Глеб, выковыривая творог из щетины. – Но сболтнёшь детям что-нибудь раньше – убью!

– Окупант! – бросает сквозь зубы Марина. У неё голос тоже понемногу становится выше, возвращаясь в свою тональность.

Глеб переводит взгляд на охранника, бегущего на всех парах во главе целого отряда в чёрной форме, маскирующей бронежилет, и снова на Марину. Раскрасневшаяся, она тяжело дышит и машинально поправляет волосы. Потом лезет в сумку за влажными салфетками. Глебу кажется, будто он только что с треском проиграл раунд. Лет сто пятьдесят назад, ещё в школьные времена, он был лучшим боксёром города в своей юношеской категории, и каждый проигрыш, ко-

торых по пальцам перечесть, становился для него настоящей трагедией. Проигрывать он умел плохо. А тут жена сделала его, словно новичка.

Когда они выходят на парковку, уже начинает темнеть. Тележку им поменяли. В ней – всё, что уцелело после «кораблекрушения». Творог Марина вычистила почти весь: только на виске у Глеба белеет неуловимое творожное зерно.

– Руль в твоём распоряжении, – говорит он ей, запихивая пакеты в багажник.

– Ты садись. Вдохновения нет.

Эти показательные режиссёрские замашки! Когда у детей спрашивают, кем работает их мама, они с гордостью (а иногда хором) отвечают: режиссёром. Режиссё-ором? – картинно удивляется собеседник. Глебовой-то работой так никто не восхищается. Чего там – менеджер и менеджер. С дополнением: по продажам.

То, что Марина устала, видно и сейчас. Плюхнувшись рядом на пассажирское кресло, она закрывает глаза и откидывается. На шее – от уха до подбородка – морщина, которую Глеб что-то не припомнит, отросшие пряди сбились, закрутились вокруг уха. Последние годы Марина коротко стриглась, и в этом они с Глебом тоже не сходились: он любил длинные волосы, до самой талии, как на Маринкиных старых фотографиях, но бороться было бесполезно: секутся, пачкаются, седеют... И ещё миллион аргументов, с виду железных.

В полном молчании они выезжают с парковки и мчат-

ся к дому. Пробок в это время уже нет – тем более, здесь, в малоэтажных кварталах Ясенева, с его изогнутыми улицами, обсаженными... нет, не ясенями, как это ни удивительно, а липами. Лето в этом году позднее, так что липы ещё не отцвели, и если оставить на ночь машину на улице, по утрам приходится выгребать из-под дворников на лобовом стекле белые цветки с длинными семенами-перьями. Так и едут, не проронив ни слова. Подъезжая к дому, Глеб понимает, что скоро навсегда изменится привычная цепочка действий: пультом открыть ворота, загнать машину вниз, в полуподвальный гараж, упереться фарами в стену, вдоль которой стоят велосипеды: два взрослых и два детских, один из них – четырёхколёсный. Заглушить мотор, хлопнуть дверцей, подхватить мешки с продуктами, наткнуться на удочки со спиннингами, которые торчат прямо у двери в прихожую... А в прихожей – почти «иконостас»: на полке за стеклом – кубки и грамоты, заработанные на ринге потом и кровью. Марина жаловалась, что и без того не слишком просторно и порывалась убрать куда-нибудь подальше эти «фетиши». Она вообще любила вдруг перевесить фотографию, переставить мебель или что-нибудь выбросить. Но тут уж Глеб стоял намертво. Память о тех победах была ему дорога, а в последнее время – особенно.

За последние десять лет Глеб сильно привязался к Ясеневу, хотя когда-то ему казалось, что он едва ли привыкнет жить на юге. Здесь, ровно на пятнадцатом километре

от Кремля, ещё четверть века назад проходила граница Южной Москвы. Здесь заканчивался крохотный анклав России, и там, дальше, за бывшей усадьбой Узкое, вновь начиналась Великогерманская Империя, в которой Глеб родился и вырос.

Этой ночью, уперев глаза в потолок, он вдруг вспоминает свою бабушку по отчиму, которую никогда не любил. Бабушка Эльза, переселенка из Саксонии, полжизни проработала пограничником на станции «*Театерплац*», которую потом, после Воссоединения, переименовали в «Театральную». Зелёная линия долгое время была единственной связывающей под землёй Северную и Южную Москву. С южной стороны, в Замоскворечье, был свой погранпереход на «Новокузнецкой». Коммунисты успели достроить её в середине войны, уже после поражения в Сталинградской битве, но ещё до сдачи Москвы. Между двумя станциями, под рекой, ходил поезд-челнок, и бабушка говорила, что ездить на нём можно только по специальному разрешению, которое выдаётся очень важным людям. Кто эти «важные люди», Глеб не понимал, и одно время самой заветной его мечтой было прокатиться на этом таинственном поезде-челноке, мчащемся на юг.

Это бабушка научила его певучему саксонскому диалекту, с длинными растянутыми гласными и обилием шипящих. Услышав такой «сельский немецкий», в Берлине улыбались, но Глеб любил именно его и говорил на этом наречии, ни-

чуть не стесняясь. Язык – пожалуй, единственное, что Глебу было близко в своей приёмной бабушке... Впрочем, нет. Она пекла сногшибательный штрудель с черничным вареньем и решала задачки по математике для начальной школы, объясняя, как движутся навстречу друг другу два поезда между городами А и Б, что такое скорость сближения и как её высчитывать.

«Это Дрезден», – говорила она, рисуя жирную точку, – А вот это – «Москва».

На другом конце листа появлялась ещё одна жирная точка с неизменной буквой М. А затем – стрелочки, циферки, снова стрелочки, иногда даже флажочки и человечки. Глядя на всё это, Глеб представлял, что на тетрадном листке вдруг ожил целый мир, и вот он, поезд с округлыми *шлафенвагонами*<sup>1</sup>, спешит из Дрездена в Москву, чтобы прибыть на *Берлинер Банхоф*<sup>2</sup>. А другой мчит в обратную сторону, и они встречаются где-то около *Варшау*... Самолёты она не рисовала – видимо, потому что боялась летать.

Младший братец в это время катал по полу игрушечный локомотив с бордовыми вагончиками. Слишком мал ещё, чтобы решать задачки, так что бабушка ему слова грубого не говорила, тем более, он – любимый и кровный внук. Мама где-то далеко, на кухне, что-то резала – только слышно было, как нож ударяет по доске, – или мыла посуду. Папа на рабо-

---

<sup>1</sup> Спальный вагон (нем.)

<sup>2</sup> Берлинский вокзал (нем.)

те, в институте. Он приходил вечером и приносил в пакете брауншвейгскую колбасу с кругляшками жира...

Спальня прямо над гаражом. По другую сторону от лестницы – детская. Саня и Ваня пока ночуют в одной комнате, хотя кого-то из них скоро собирались переселять в гостевую...

Глеб смотрит на спящую Марину, снова цепляется взглядом за её морщину на шее, а затем отворачивается, закрывает глаза и, пытаясь заснуть, видит перед собой бабушкино лицо. В раннем детстве Глеба, в самом конце семидесятых, бабушке было уже под шестьдесят, так что её широкий *gesicht*<sup>3</sup> он не может представить без морщин, хотя сто раз видел добротные чёрно-белые холсты, на которых она – молодая, улыбающаяся, как будто всю жизнь собиралась быть счастливой. Бабушки нет на свете уже семнадцать лет, а Глеб видит сейчас её так чётко, будто бы она только вчера рисовала стрелочки и кружочки. Она улыбается, а потом вдруг скидывает брови и начинает кричать. В такие минуты Глеб включал защитную реакцию: ему становилось смешно, и он плохо сдерживал усмешку, за что не раз получал по губам и после этого чувствовал, как в нём поднимается нелюбовь. Он часто мечтал о том, что вырастет и уедет от бабушки в Южную Москву, на том самом поезде-челноке, и никто никогда не вернёт его назад... Бабушка кричит и кричит, и, подавляя смех, Глеб слышит шипящие саксонские согласные,

---

<sup>3</sup> Лицо (нем.)

а младший братец, как ни в чём не бывало, катает по полу свой бордовый пластмассовый поезд. И вдруг бабушка снимает пиджак и вешает на стул. Это форма пограничника. Где-то в коридоре, на вешалке, ещё осталась зелёная фуражка с чёрным крестом на лбу.

Вообще-то бабушка Эльза никогда не называла его Глеб.

«Готтлиб!» – говорила она, – «Чтобы был дома не позже семи!».

Их дома на *Циркусштрассе* теперь нет. Его снесли несколько лет назад, разворотив полквартила и втиснув огромный, как кусок Антарктиды, бизнес-центр, сверкающий синим стеклом. Циркусштрассе – нынешний Цветной бульвар – всегда оставался бульваром. Захватив Москву, Гитлер быстро отремонтировал разбомбленный цирк, так что, как вспоминала бабушка, летом сорок пятого они с дедом уже ходили на представление, и на арене выступали африканские слоны. Рассказывая это, она улыбалась и, если бы не морщины, то улыбка была бы почти такой же, как на тех довоенных чёрно-белых холстах. Дед Генрих (его портрет висел в коридоре) был врачом, работал неподалёку, в *Кранкенхаусе*, госпитале имени Хандлозера<sup>4</sup>, – большой Аполукруглой больнице светло-серого цвета, выходящей на *Гроссринг*. Вот им и досталась служебная квартира в бывшем доходном доме на углу Циркусштрассе и Гроссринга, где в со-

---

<sup>4</sup> Зигфрид Хандлозер (1885 – 1954), руководитель санитарной службы Вермахта

рок шестом году родился Отто Кремер, которого Глеб всю жизнь называл папа.

По вечерам папа приходил из института. Это слово Глеб выучил одним из первых. Он знал: папа каждый день уходит в институт, потому что он – учёный. Он знает всё, что ни спросишь: почему дует ветер, почему идёт дождь, как так может быть, что лестница в метро едет сама?

«А папа тоже врач?» – как-то раз спросил Глеб маму.

«Нет, папа – физик...».

Хотя старинная немецкая фамилия Кремер переводится как «лавочник», папины предки были врачами и аптекарями. Так, по крайней мере, говорила бабушка.

«А Ланге – тоже немецкая фамилия?» – как-то спросил Глеб.

«Конечно!».

«А Мелдерис?».

«Мелдерис – латышская», – сухо ответила бабушка, – «Ты разве не знаешь?».

«А ещё какие есть фамилии?» – не унимался Глеб.

«Какие угодно: русские, французские, английские, китайские, татарские...».

«Татарские?» – удивился Глеб чудному звучанию этого слова.

«Да, татарские», – ещё суше ответила бабушка.

«Это какие?».

«Нигматуллин, Ахмадуллин, Нуретдинов, Бизянов...».

Последнюю она произнесла чуть тише и громко добавила: «Если хочешь гулять, иди прямо сейчас, а то стемнеет!».

В этой интонации не было ни грамма любви. Бабушкин голос звучал или сухо, или сердито. А другой бабушки у Глеба не было.

Вдоль бульвара ходил трамвай. Глеб ещё застал его: длинные тёмно-жёлтые вагоны, пригнанные из «западных земель», издавали до того пронзительные звонки, что в окрестных домах дрожали стёкла. Затем трамваи убрали с Циркусштрассе, и стало непривычно тихо. Это было уже незадолго до Воссоединения.

«Ну, чего ты пришла?» – молча спрашивает он, открывая глаза, – «Спать давно пора!»

Бабушка Эльза молчит в ответ, а потом снова начинает улыбаться, как ни в чём не бывало.

«Ну, давайте, приходите все! И папа, и дедушка Генрих, которого я в глаза не видел, и Марлен! Мне же завтра не надо поднимать себя за волосы в полшестого, садиться за руль и ехать полторы тысячи километров! Давайте же, смейтесь, кричите, рисуйте флажки, сколько вам влезет! Вот ты, дедушка Генрих, сними свой белый халат, повесь его сверху на бабушкин пиджак и расскажи, какого хрена ты забыл в этой далёкой Москве, с душным и пыльным летом и выстуженной русской зимой? Чего тебе не сиделось в своей Вестфалии, где снег-то видят пару недель в году?»

«Это нож дедушки Генриха!» – сказала однажды бабушка,

вынимая из ящика старого, слегка разошедшегося, письменного стола деревянный ножик. До этого момента Глеб видел только железные ножи, да и то – на кухне. А этот – деревянный и в комнате!

«Он игрушечный, да?» – спросил Глеб.

«Какой же он игрушечный? Он острый! Аккуратно, порежешься!» – бабушка потянулась и отобрала нож.

«Аккуратно, порежешься!» – поддакнул вбежавший в комнату младший братец.

«А почему деревянный?» – обиженно спросил Глеб, оставшись с пустыми руками.

«Он для резки бумаги, разве ты не видишь?» – она сложила тетрадный лист пополам, ловко провела по сгибу ножом, и лист распался надвое.

«Бумагу же ножницами режут...».

«Ножницами режут, и ножом тоже можно. Дедушка этот нож любил. Он привёз его из Мюнстера. У него, кстати, их два было – он второй подарил твоему двоюродному деду Андрису...»

«Я тоже хочу нож!» – законючил братец.

«Марк, только из моих рук!» – бабушка положила трофей на ладони и поднесла к его лицу, – «Ты же видел, как я сейчас разрешила бумагу! Нож очень острый!»

Но едва ли не чаще дедушка Генрих орудовал другими ножами, вернее, скальпелем. В Москву военного хирурга Кремера перебросили в сорок третьем, сразу после взятия ком-

мунистической столицы. Гитлеру удалось то, что в своё время довольно плохо удалось Наполеону, для которого покорение Москвы в конечном счёте обернулось позорным изгнанием. Гитлер же закрепился здесь всерьёз и надолго. И едва ли не самое ценное, что было в замерзающем городе, это больницы, да ещё какие! Просторные, крепкие, словно скалы: Первая Градская, инфекционная, больница Склифосовского... Именно в ней и начал оперировать дед Генрих, проводя в день по пятнадцать операций... Так, по крайней мере, говорила бабушка, убирая деревянный нож обратно в ящик письменного стола.

Они познакомились уже здесь, попав в образованный накануне нового сорок четвёртого года рейхскомиссариат Московия.

«Кремль был почти цел», – рассказывала бабушка, – «Стены только в некоторых местах разрушены, но их довольно быстро восстановили. Правда, соборы, конечно, пострадали от бомб, а самый высокий, с колокольней, русские взорвали при отступлении. Это же когда-то был один из их главных соборов! Главнее – только Базилиус...» Она говорила и перекручивала фарш на мясорубке или резала картошку специальным волнистым ножом – так, что потом на сковороде картофелины тоже были волнистыми, словно маленькие гребешки... Глебу даже показалось, что он вдруг почувал запах «Karto», как сам называл его в детстве. И сразу захотелось есть.

«Голода не было – это вранье! При советах да, был голод, конечно, не такой, как в Петере, но когда Гитлер наступал, коммунисты вывезли отсюда всех, кого только можно. Остались только те, кто не захотел уехать. Их начали выселять уже после войны...».

Глеб и сам долго не мог отвыкнуть говорить «Петер», как называли город при Рейхе. Гитлер вернул ему почти историческое название, так и не решившись переименовать кардинально. Русское «Питер» звучит красивее, но чуть только скажет кто-нибудь «Петер» – и сразу вспоминается продолговатый *Peterbrot*, который пекли и в Москве, правда, в восьмидесятые, уже перед Воссоединением. За ним, как и много за чем, приходилось стоять в очередях.

Деда бабушка увидела на каком-то празднике – кажется, дело было на Первомай. Ей – двадцать с небольшим, и она чистокровная арийка, немного склонная к полноте. Ему – на одиннадцать лет больше, и он не хуже вписывается в приличную расовую картину. Хотя, по бабушкиным рассказам, дед был немного темнее: видимо, там, в его Вестфалии, в род кто-то подмешался: не то француз, не то занесённый на север итальянец. Но для бабушки даже в те зубодробильные времена это, в общем, не было главным, а уж к концу жизни она и вовсе стала почти космополиткой, правда, коммунистов терпеть не могла, называя их не меньшими злодеями, чем фашисты.

Глеб не очень любил эту хрестоматийную семейную исто-

рию знакомства в только что завоёванной Москве. Ему казалось, он подслушивает рассказ о жизни совершенно чужих ему людей и что Москва, которая вскоре будет поделена на сектора, – вовсе не та Москва, которую он знает всю жизнь. Так или иначе, бабушка и дед поженились через несколько дней после капитуляции СССР, тоже в мае, то есть, через год после знакомства. Поэтому когда-то давно, ещё до рождения Глеба, в семье отмечали два праздника подряд: День победы над коммунизмом и годовщину свадьбы.

Смотрящий со стены дед Генрих казался спокойнее и мягче бабушки Эльзы. Одно время Глеб был уверен: дед наверняка разрешил бы прокатиться на том таинственном поезде, который ходит в Южную Москву, не требовал бы возвращения домой в семь вечера и не заставлял решать задачи. И ещё он, наверное, никогда не кричал. Ведь разве врачи кричат? Бывало, что, злясь на бабушку, Глеб выбегал в прихожую, подходил к портрету деда и смотрел на него снизу. Пожилой лысеющий мужчина в тёмном пиджаке с приколотыми наградами смотрел немного исподлобья. Взгляд поверх круглых очков словно говорил: «Успокойся, мой мальчик! Когда-нибудь у тебя всё будет хорошо...».

Глеб снова поворачивается и смотрит на Марину. Она спит, дышит тихо, прядь чернеет на подушке. Он дотрагивается до её волос и аккуратно проводит по ним пальцем. Ничего. Ни малейшего шевеления внутри, как будто погла-

дил стену. Хотя Маринкины волосы – это то, что заводило его с пол-оборота, стоило ей снять шапку или отцепить за-колку. Как, например, в тот солнечный день, когда она въехала в него на перекрёстке. Это был исход зимы – самое время гололедицы, от которой не спасала ни зимняя резина, ни противобуксовка. Остановившись на светофоре, он через несколько секунд почувствовал удар сзади. Марина выско-чила первой. Глядя в зеркало, Глеб увидел, как она поправ-ляет длинные – почти до талии – волосы, разглядывая смя-тый бампер своей машины.

«Солнце ослепило...», – виновато улыбнулась она.

Глеб в ответ тоже улыбнулся.

«Ты, наверное, татарка...» – как-то сказал он ей в самом начале их отношений. Она помотала головой. «Ну, или башкирка! Хоть на какую-то часть точно! У вас же там татары с башкирами рядом живут...». Она усмехнулась. «А, может, еврейка?» – подмигнул Глеб. Она рассмеялась, но снова не ответила, и Глеба это окончательно разоружило. Он знал, как действовать, когда на него кричит женщина, а вот когда она только смеётся и молчит, вставал в ступор. Марина была типичная русская с Востока: свободная, прагматичная, самостоятельная. Ходила быстро – не утонишься. Глебу поначалу всё время приходилось её догонять. Ей, пожалуй, недостава-ло только одной черты: осторожности, которая была прису-ща людям из Восточной России. Она не только быстро ходи-ла, она ещё и за рулём часто превышала скорость. Однажды

это обернулось аварией, в которой чуть не погибла дочка. И это был первый удар по их браку: Глеб долго не мог простить жене этой чрезмерной свободы, переходящей в безалаберность. После этого Марина какое-то время была аккуратнее, но потом всё снова вернулось на круги своя. Иногда Глеб удивлялся: чего она приехала ловить на Западе, где, кроме Москвы и Питера, до сих пор было, в общем-то, не на что взглянуть?

«Всё хорошо», – спокойно повторяла Марина, когда хныкали дети или когда Глеб ворчал из-за очередного присланного из ГИБДД штрафа. Если бы дед Генрих был с ней знаком, они наверняка поладили бы.

Но он умер буквально через две недели после рождения Глеба. И при этом не подозревал, что на свете уже живёт человек, который через несколько лет будет считать его дедом. Как ни банально, подвело сердце: Генрих Кремер чуть-чуть не дожил до шестидесяти четырёх. Потом Глеб поймёт, что это число для Кремеров роковое: отец тоже умер, когда ему едва исполнилось шестьдесят четыре. Деду стало плохо в лифте – он поднимался домой, возвращаясь с работы. Упал прямо в кабине и пролежал какое-то время, припав к железной стенке, пока его не обнаружил тот, кто следом вызвал лифт. Позвонили в «Скорую», но было уже поздно.

«Умер мгновенно», – говорила бабушка, произнося эти два слова так, будто передвигала шкаф, – «Мгновенно».

Лиене... Она повторяет про себя своё имя, будто пытается заговорить с самой собой, и при этом однажды делает открытие: имя, которое она в детстве терпеть не могла, всё больше ей нравится. Краткое, но не слишком. Женственное, но не слащавое. Твёрдое, но благозвучное, – не то что Дадце или Мирдза. И – такое извилистое немного, словно речка Лиелупе, которая петляет и петляет, долго не решаясь влиться в море.

Вообще-то все кругом почти всю жизнь называют её Лия. По-русски сложно выговаривать «Лиене», а «Лена» ей ну совсем не нравится – какая она Лена?!

«Лия», – как-то назвала её дальняя мамина родственница тётя Аня – не то троюродная, не то четвероюродная тётка, дореволюционная петербургская дворянка, спасшаяся в Прибалтике сначала от большевиков, затем от нацистов – и лишь благодаря своей немецкой фамилии и имени, не вызывающего ни малейшего подозрения, – «Личка, захвати мне, пожалуйста, плед, а то я что-то озябла!».

Самое начало шестидесятых. Они сидят на даче, в *Дуббельне*<sup>5</sup>, и это конец лета. Август на взморье обычно прохладный – уже почти никто не купается, но при этом все торчат на берегу: на террасах, за столиками прибрежных кафе, просто на песке среди дюн и сосен. Тётя Аня приехала погостить

---

<sup>5</sup> Дубулты

из *Дюнабургга*<sup>6</sup>, и ей уже хорошо за семьдесят, но она пока ещё живее всех живых. Отлично говорит по-немецки, по-французски, по-латышски, чуть хуже – по-английски и по-итальянски. Но Лия запомнила, что при них она чаще всего разговаривала по-русски. После смерти Гитлера это было уже можно, хотя в обиходе русский по-прежнему считался варварским, эдаким обрубок прошлого, и ещё, конечно, вражеским языком коммунистов. В детстве Лия очень плохо знала русский, но фразу про плед поняла и притащила тётке клетчатое шерстяное полотнище – огромное – хватило бы ещё человек на пять.

Такого уюта, как в Дуббелъне шестидесятых, Лия больше, наверное, не видела нигде. Названия улиц, вывески, афиши писали уже на латышском, хотя, конечно, обязательно дублировали на немецком. На немецком же вещало радио, объявляли прибытие электричек, но за латышский уже давно не расстреливали и не ссылали в лагерь. «*Atkusnis*»<sup>7</sup>, – говорили все вокруг, щурясь на солнечные лучи. Тогда и зимы, кажется, были солнечными, с бликующими стёклами троллейбусов, с разбегающимися между сосен лыжнями и мягким, сверкающим снегом. Дунешь на него – и снежинки разлетятся. «Какая оттепель!» – сказала однажды тётя Аня, выбравшись в Дуббелън в один из зимних дней. Кажется, это был её последний приезд, и вокруг действительно капало

---

<sup>6</sup> Даугавпилс

<sup>7</sup> Оттепель (лат.)

с крыш и текли ручьи.

Одиннадцати-двенадцатилетняя Лия знала: она, Лиене Мелдерис, живёт в самой большой стране Европы под названием Великогерманская империя, в автономном Рейхскомиссариате Леттланд, в его столице Риге, и, если уж быть совсем точным, – в районе Форштадт, который, как рассказывала мама, раньше назывался Москауэр Форштадт – ещё в те незапамятные времена, когда Леттландом владели русские. Лия с ужасом думала о том, как бы она жила, если бы они владели им до сих пор. Ей бы пришлось быть пионеркой – а это, как говорила мама, ещё хуже, чем Гитлерюгенд, упразднённый после смерти Гитлера. Да и русский был куда сложнее немецкого, с его падежами, склонениями, шипением и аканьем...

– Мама, ты тут спишь, что ли?

Марк. Входит на кухню незаметно, как разведчик. Обычно Лия слышит, как открывается дверь «зала», как раздаются шаги по коридору, затем щёлкает шпингалет в туалете...

– Я думала, ты уже на работу ушёл! – запахивая халат, Лия и сама не замечает, как в её голосе появляется эта материнско-учительская интонация.

– Сегодня пятница...

– Ну, пятница же, а не суббота...

– Я закосил первые два урока, – подмигивает Марк и бо-сиком проходит по кухне, – Пить-то осталось хоть что-нибудь? Ещё даже девяти нет, а жарница, как Бухенвальде!

Лия морщится от сыновнего цинизма и говорит, что компот сварить не успела, но в холодильнике ещё, кажется, осталось немного боржома. В свои тридцать семь Марк по-прежнему сорвиголова и боль семьи. Недаром имя означает «молоток». Повернувшись, Лия видит, как сын открывает холодильник и, далеко запрокидывая голову, залпом выпивает остатки боржома.

– Ты бы сказала, что у тебя ничего нет, как всегда, я бы вчера вечером в *маркт*<sup>8</sup> зашёл.

Марк, после Воссоединения поживший в Мюнхене, Берлине, Вене, Цюрихе, ещё чёрт те где и, в конце концов, вернувшийся в Москву, восточных россиян называл «мужиками» и при любом удобном случае подчёркивал свою немецкость, хотя мать приучила его в своём обществе говорить по-русски.

– Ты бы сказал, что сегодня пойдёшь попозже, я бы сварила компот из яблок или спустилась в магазин и взяла тебе сока.

– Так ты бы снова взяла апельсиновый, от которого ещё больше пить хочется.

Лия никогда не удивлялась тому, что её младший сын был женат четырежды. Вынести его больше получаса в день – испытание. Где-то в Швейцарии жила его единственная дочь – эту внучку Лия видела только однажды, когда сама ездила в холодную высокогорную деревню, где Марк со своей оче-

---

<sup>8</sup> Рынок (нем.)

редной женой (как же её звали-то?) жили чуть ли не в сарае. Они говорили – так чувствуешь себя ближе к природе: воду брали из какого-то ручья, готовили на углях, правда, бельё стирали в прачечной, куда Марк исправно ездил на мотоцикле, прикрепив к сиденью увесистые пакеты. Девочку называли Софи, и говорить её учили преимущественно по-французски, потому что мать была не то из Женевы, не то из Лозанны.

– То, что мясо осталось, это дело! – Марк вытаскивает запечённую свинину, которую он может есть тоннами. Кухню наполняет шелест фольги.

– Какая свинина на завтрак? Кашу не будешь, что ли?  
Марк мотает головой.

– Будь жива бабка Эльза, она сегодня начала бы готовить кислую капусту. Вони было бы на весь дом!

Лия морщится, будто почувствовала тот самый запах кислой капусты, который когда-то был частью её жизни. Она и сама терпеть не могла это исконно немецкое блюдо, которое раз в неделю, по заведённому расписанию, готовила свекровь. То ли дело штрудель с черничным вареньем! А вот кашу Эльза не признавала. Лия всегда варила её сама. К каше она привыкла с самого детства. А ещё к супу – этот кусочек русского, судя по всему, проник в её дом благодаря всё той же тёте Ане. Мама всегда готовила ей куриный бульон, суп с клёцками и реже – борщ. Для него нужен был особый кулинарный талант, который Лия так и не сумела в себе раз-

вить даже после полувека жизни в Москве. Другое дело – овсянка...

– Ты овсянку, что ли, опять приготовила? – Марк подходит к плите, поднимает крышку кастрюли и, хмуря светлые саксонско-вестфальско-латышские брови, опускает назад.

– А ты, наверное, хотел кукурузную?

Марк хмыкает, возвращается к столу, кладёт телефон рядом с тарелкой и аппетитно, облизывая измазанные жиром пальцы, уплетает свинину. В отличие от старшего сына, которого попробуй накорми, младшему только подавай. Вот и вымахал почти на голову выше Глеба, волосы отрастил до плеч – в общем, видок, как из девяностых... Лия достает тарелку и накладывает себе овсянки. Садится напротив сына. Едят они молча – общих тем у них мало. Она зачерпывает кашу и смотрит в окно. Там виднеются кроны лип, между которыми, в самом низу, угадывается дорожка, ведущая через двор наискосок. Бескудниково. Бывший пригород, название которого немцы так и не научились выговаривать, поэтому назвали его *Граувальд*<sup>9</sup>. Лес здесь, может, и был когда-то, но сейчас от него осталась разве что узкая полоса полукруглого бульвара с каштанами и кое-какие посадки вдоль железной дороги. К свисту проходящих за соседними домами электричек Лия долго не могла привыкнуть – просыпалась среди ночи от стука колёс. Проклинала себя за то, что согласилась на квартиру около крупной грузовой стан-

---

<sup>9</sup> Серый лес (нем.)

ции – уж лучше было постоять в очереди ещё пару лет – и тогда, возможно, был бы шанс поселиться где-нибудь у канала Москва – Волга, на Северо-Западе, который в имперские времена считался лучшим районом вермахтовской Москвы.

Когда-то это была финская зона оккупации, и потом, в путеводителях, побережье канала даже называли «Малой Финляндией» из-за обилия сосен и песчаных пляжей. А на той стороне, в Тушино, которое финны называли на свой манер *Туусина*, до сих пор сохранились добротные деревянные коттеджи, выкрашенные в красный цвет. До пятьдесят третьего года неарийцам запрещалось там селиться, потом, после первой волны денацификации, за каналом стали потихоньку давать жильё благонадёжному среднему классу: врачам, учёным, чиновникам, но – только членам Социалистической Немецкой рабочей партии, из названия которой после смерти Гитлера выкинули приставку «Национал-». «Финские дома», – говорили в народе, но Лии казалось, что уж лучше жить вшестером в двухкомнатной квартире и в самом центре, чем в деревянном доме на выселках. И они с Отто и двумя детьми терпеливо ждали квартиры в Граувальде почти десять лет, снося очередь в ванную, второй холодильник в коридоре и придури свекрови, возомнившей себя львицей немногочисленного клана. Неработающая мать двоих детей Лиене больше всего времени там проводила на кухне, стуча ножом по доске, перемешивая суп и намывая посуду...

У Марка «крякает» телефон, и он, наскоро облизав паль-

цы, кидается к экрану и что-то пишет.

– Я с работы уволился... – доедая последний кусок сви-  
нины, говорит Марк.

Лия глотает остывающую кашу и пожимает плечами. От младшего сына эту фразу она слышала уже раз пятна-  
дцать – в основном, конечно, по телефону или скайпу, а те-  
перь вот – за этим спонтанным завтраком на шестиметровой  
кухне.

– И что будешь делать? – облизнув губы, спрашивает Лия.

– В Новосибирск поеду.

Лия хмыкает, встаёт из-за стола и ставит тарелку в рако-  
вину.

– А почему не в Петропавловск-Камчатский?

– Потому что в Новосибе предлагают больше.

Ему всю жизнь не сиделось дома. Целыми днями гонял  
сначала на велосипеде, затем – на мотоцикле. Лия места  
не могла найти, когда ждала его. Она почти привыкла к мыс-  
ли о том, что однажды младший сын разобьётся насмерть,  
но он каждый раз возвращался, наскоро делал уроки, вклю-  
чал музыку в комнате, отчего начинал дрожать пол. А если  
было что-то нужно – починить мотоцикл или достать биле-  
ты на концерт, – Марк готов был стены ломать. И всё вре-  
мя находил то, что Лия могла искать месяцами: спицу для  
вязания, закатившуюся между половиц, кольцо, оставленное  
где-то на кухне, паспорт, который она положила на свежую  
газету. «Найти можно всё!» – повторял он. Ему бы сыщиком

стать, только вот университет он так и не закончил.

– И что ты там будешь делать, в этом Новосибирске? Опять мусор на свалки возить?

– Зачем? Крановщиком берут, небоскрёбы строить.

– Дались тебе эти небоскрёбы! Лучше машины иди чинить. На этом ты, по крайней мере, точно собаку съел. А то поработаешь пару месяцев – и снова дурака валяешь.

– Можно подумать, ты в жизни очень много работала...

Лия достаёт извечный заготовленный козырь.

– У меня был муж, который обеспечивал семью. А я, как ты помнишь, занималась вами двумя. И из кухни не вылезала, как проклятая. Да ещё выслушивала наставления вашей бабки, из которых не всё понимала. Она же всё время шепелявила...

Марк зевает.

– Машины чинить – это не работа. Баловство какое-то. Для себя я ещё могу поковыряться во всех этих внутренностях – чего там ковыряться-то? Проще пареной репы. Но каждый день я этим точно заниматься не буду. Так что поеду в Новосиб небоскрёбы строить!

– Их там не хватает, что ли?

– Небоскрёбов много не бывает...

О Новосибирске Лия имеет исключительно «плакатные» представления – никогда там не была: топорщащиеся стеклянные высотки на берегу широкой реки, пересекающиеся под прямым углом проспекты – такая уменьшенная версия

какого-нибудь Нью-Йорка или Гонконга.

– Это ты всё время на верхотуре будешь?

– На высоте! Буду сидеть высоко!..

– Ну-ну... И холод, небось, собачий...

Сибирские морозы. Ими в своё время пугали жителей благополучного Вермахта, рассказывая страшилки о Советском Союзе, который из-за вмешательства американцев не добились, но хотя бы выдавили за демаркационную линию «Архангельск – Астрахань». Лия складывает в раковину тарелки, тянется рукой к электрочайнику и нажимает кнопку. Чайник просыпается и начинает урчать. Марк, зажав в руке телефон, снова что-то строчит. Как там и что устроено, в этом маленьком тёмном экранчике, который помещается в ладонь, для Лии до сих пор – тёмный лес.

– И когда ты едешь в Новосибирск?

– Завтра. Хотел на машине, но пока тут её оставляю, у тебя под окнами, а потом через месяцок как-нибудь её перегоню. Так что пока лечу стыковочным рейсом через Сургут.

– Зачем через Сургут?!

– Так дешевле. Поторчу в аэропорту четыре часа, кино какое-нибудь посмотрю, потом ещё полтора часа – и я в Новосибире.

– У мужиков...

– Мужиков и здесь теперь хватает – понаехали со своего Востока...

– По-моему, все как раз понаехали туда – или в Южную

Москву...

– Вот и я, пожалуй, понаеду. Может, мне так понравится, что я и сам мужиком стану, а?

– Пора бы...

Лия ставит перед собой заварочный чайник и насыпает туда ровно четыре ложки чая. Воду, конечно, лучше кипятить «белым ключом», по старинке, на плите: выключать газ, когда только-только начали появляться маленькие пузырьки. Если пошли большие – вода перекипела. Там, на рижской квартире, покойный отец выливал и выливал «перекипевшие» чайники, затем снова ставил воду кипятиться, так что чая можно было ждать полдня. Но это был чай! Не то что пакетики, которые, как тряпка... При всей своей консервативности Лия всё-таки выбросила старый сгоревший чайник с носиком и купила электрический. Так что с «белым ключом» теперь сложнее. Но традиционной заварке без всяких пакетиков она по-прежнему верна. Заливаешь её кипятком – и вот она, душистая белая пенка, почти как на молоке...

– Женишься на сибирячке, будет у тебя, наконец, нормальная семья, как у людей...

– С сибирячкой – это вряд ли...

– Почему это?

Лия ставит на стол чашки с чаем и, чуть наклонив голову, смотрит на своего тридцатисемилетнего сына. Видит в нём, хоть и немного потускневшие, но всё те же арийские черты, что и на фотографиях 1990 года, когда в умирающем Рейхе

ещё принимали в *Рейхсюгенд*. В том зале все стены были увешаны снимками вот таких же юных арийцев в форме, начиная ещё с гитлеровских времён, когда организация называлась Гитлерюгенд. И вот там, в запахе отутюженных галстуков, десятилетний Марк был настолько органичен, что Лие вдруг стало не по себе. Впрочем, через каких-то пару месяцев всё это уже не имело ни малейшего значения.

– С сибирским менталитетом я точно не уживусь. Глеб с Маринкой – тому доказательство.

– Глеб с Маринкой друг с другом отлично уживаются!

– Я бы поспорил... – запнулся Глеб, – Всё, что ты можешь, – это привести мне в пример старшего брата.

– А чем плох его пример?

Пауза.

– С Маринкой мне бы с ней точно ужиться было невозможно...

– Тебе и со швейцарским менталитетом невозможно. И с немецким, и с финским, и с... какой у тебя там ещё был?

– Хо-хо! – Марк картинно усмехается и шумно отхлёбывает чай. Лет двадцать назад Лия за это иногда била его по губам. Но нехитрые материнские меры воспитания и здесь оказались тщетными. – Ты не путай божий дар с яичницей!

– Интересно, что здесь божий дар, а что – яичница? – Лия пробует чай и сама вдруг издаёт громкий хлюпающий звук.

– Восток есть восток, – театрально пожимает плечами

Марк, – У них история-то началась максимум позавчера. Я не говорю про Китай или там... Японию какую-нибудь. Но вот, сколько лет Новосибирску?

– Какая разница?

– Нет, ну вот сколько, как ты думаешь?

– Да откуда я знаю?! Лет сто пятьдесят, наверное...

– Сто двадцать четыре. А Бремену – тысяча двести.

– Вот и езжай в Бремен! Чего в Бремен-то не едешь? Там что, не нужны строители небоскрёбов?

Марк морщится и снова шумно отхлёбывает чай. Небоскрёбы в Бремене – это всё равно, что пальмы в Мурманске. И хотя в Бремене Лия не была, ей прекрасно известно: это маленький провинциальный город некогда огромной Империи, знаменитый, главным образом, своей сказкой. Но, кроме сказки и худо-бедно сохранившихся старинных кварталов, подпорченных унылой вермахтовской застройкой, там больше нет ничего интересного, и люди наверняка уезжают оттуда – в Берлин или хотя бы в Гамбург, где есть работа и какие-то перспективы... А сказка хорошая. Лия помнила, как в школе заставляли учить её чуть ли не наизусть, ведь это – «типичный немецкий фольклор»... Хотя какой же это фольклор, если у него есть авторы? А мультфильм какой шикарный! Если что и умели в Вермахте делать хорошо, так это мультфильмы. Лия отводит глаза в сторону и видит перед собой трубадура в расклешённых джинсах, блондинку-принцессу в мини-юбке, осла в чёрных очках, хлопающего в ла-

доши...

– В Новосибирске я вряд ли задержусь. Подзаработаю денег – и снова куда-нибудь на запад. На западе душевнее...

– Запад, как известно, дело тёмное, – Лия ловит в своём голосе издевательский тон, – Причём настолько тёмное, что не разглядишь.

– Только не надо снова говорить про Глеба, который «отлично устроился в южной Москве с женщиной с Востока».

– Я была бы счастлива, если бы ты хоть однажды устроился с какой-нибудь женщиной с Востока.

– Устраивался, и не однажды! – запрокинув чашку, Марк допивает остатки чая и со стуком ставит её на стол. – Они все какие-то скучные... Даже не то чтобы скучные... Я не знаю, как объяснить. Они все думают, что мужчина должен ей золотые горы, яхты, дома с подземными гаражами...

– Восточные мужчины всё это могут... У них нацизма не было.

– Начинается... Нацизма и у нас нет сто лет в обед.

– А на заработки до сих пор ездят в Сибирь, а не в Вестфалию...

– Дед Генрих бы тебя сейчас не понял...

– Думаю, что понял бы, в отличие от вашей бабки. Насколько я знаю, он и по-русски понимал отлично!

– Восточные женщины нас тоже плохо понимают. Для них мы – дикари, «гастарбайтеры». Они до сих пор именно так к нам относятся, как относились двадцать – тридцать лет на-

зад.

– И правильно относятся! А кто же мы?

– Мы вообще-то – великая нация.

За окном, где-то во внешнем мире, слышится свист электрички и затем стук колёс: тук-тук, тук-тук... Говорят, до того, как Граувальд поглотил город, сюда ездили за брусникой и грибами – выходили на станции Дегунино, которая тогда была полустанком *Шлухт*<sup>10</sup>, и прямо у полотна начинались болота. Брусника здесь была крупная, чуть ли не с вишню, и сладкая, словно и не брусника вовсе... От кого Лия всё это слышала? От Арви с четырнадцатого этажа, который жил здесь ещё в деревенские времена и, кажется, знает всё про Москву с самого раздела. Этот несчастный старик, с виду напоминающий гнома, последнее время вызывал у Лии неподдельную жалость.

– Великая – кто ж спорит! Гёте – наше всё! И Бах с Моцартом... Хотя нет, вру! Моцарт – австрийский!

– Да наш он, наш! И Австрия тоже наша!

– Гитлер тоже так считал...

– И правильно считал!

– Вот этого ты при мне не произноси. – Лия говорит вкрадчиво и немного понижает голос, – Ещё мне нациста в доме не хватало!

– А у тебя и нет в доме никакого нациста. Просто Гитлера сильно задвинули в последнее время. Только и говорят

---

<sup>10</sup> Овраг (нем.)

про репрессии и про Холокост. Холокост холокостом, а страну-то из руин он поднял...

У Марка звонит телефон. Прервав разговор, Лия уходит в зал. Так она с самого новоселья привыкла называть прямоугольную комнату, в которой всегда недоставало тепла и света, потому что окно выходило на север. Если сделать ещё пару шагов по короткому и узкому коридорчику, можно попасть в спальню. Спальня крохотная-прекрохотная – примерно такого же размера, как чулан на родительской даче в Дуббельне. Зато выходит на юг, именно поэтому здесь сначала была детская. Парни тут жили вдвоём, их кровати стояли напротив, а на стене как висели, так и висят вот эти часы, правда, они давно не ходят.

Лия садится в кресло и, опираясь о подлокотник, прикладывает ладонь ко лбу. Голова болит третий день подряд, потому что давление скачет туда-сюда. Сегодня жара, а до этого недели две – то дожди, то туманы. Такого холодного лета Лия что-то не припомнит. Арви недавно тоже жаловался на головную боль. Вообще, в последнее время он стал довольно часто попадаться на лестнице. Лия даже подумала, не следит ли он за ней. Но что могло понадобиться от неё старому финну, который остался в Москве со времён оккупации? Когда-то здесь был финский сектор, а там, за железной дорогой, – итальянский. В отличие от немцев, владевших центром, финнам и итальянцам достались в основном северные окраины и пригороды, а юг оставался за американцами, ко-

торые затем вернули его русским.

– Голова болит? – Марк появляется на пороге через несколько минут, скрипя половицами. – Выпей таблетку, головную боль нельзя терпеть!

Если бы кто-нибудь сейчас случайно увидел эту сцену со стороны, подумал бы: какой заботливый сын! – размышляет Лия, не отнимая ладонь ото лба.

– Принеси мне воду и лекарство. Таблетки лежат на холодильнике в соломенной миске.

Через минуту Марк протягивает стакан и таблетку на ладони. Вода тёплая, противная, отдающая каким-то болотом: отстаивай – не отстаивай. Хотя не так давно объявили, что во всей Москве воду можно пить из-под крана, Лия всё равно предпочитает минералку – тот же боржом, который жадно выхлебал Марк.

– Знаешь что, езжай сегодня, – говорит Лия, проглотив таблетку, – Рейсов в Сургут, наверное, как грязи.

– Не уговаривай: уеду прямо сейчас. Только сначала не в Сургут.

– Езжай куда угодно! – машет рукой Лия, ставя чашку на журнальный столик – старый, скрипучий, с расшатанными колёсиками. Отто достал его где-то по большому блату, и для своего времени это была почти музейная вещь, каких не водилось в панельных клетушках Граувальда.

– В Рязань поеду. Маринка выручить просила.

Дорога до Рязани – ровная, прямая, как настоящий сибирский автобан. Заправки, развязки, снова заправки...

– Сделали, наконец, в этом году, – Марина перестраивается в левый ряд и лихо идёт на обгон. – Мы здесь в прошлом году были на съёмках – я помню, у меня все кишки отбиты были: тынц-тынц – ямы одни. Пипец какой-то!

Двадцать семь лет Воссоединению, сто лет Революции. Целые десятилетия здесь мало что менялось, разве что с лошадей пересели на колымаги и трактора. Марина пытается представить, кем была бы, живя она в тысяча девятьсот семнадцатом. Умела бы она управлять лошадыю? Умела бы хотя бы читать? Но совершенно точно она была бы за царя. Кто знает – не случись в стране коммунизма, может, и нацизма потом не случилось бы, и не было бы этого водораздела между Западом и Востоком, который за сто лет так и не смогли стереть?

Сон уже почти совсем отступил. К тому же, помогает жвачка. Марина жуёт её с удовольствием, время от времени пытаясь, как в детстве, надуть пузырь.

– Ты слишком-то не гони, а то сейчас взлетим! – Глеб с опаской смотрит, как позади остаётся фургон, автобус, ещё один фургон и легковушка. Только после этого Марина возвращается в правый ряд.

– Спокойно, панику засовываем в штаны!

– Я уже заснул! – Ваня подаёт с заднего сидения голос.

– Молодец, сынуль! Только я тебе говорила – в боковое стекло не смотри, ты помнишь?

Ваня кивает и проглатывает слюну. В свои семь лет он ещё ездит пристёгнутым. Его кресло обычно ставят посередине заднего «дивана», чтобы он смотрел в лобовое стекло. Иначе придётся отмывать весь салон – это уже несколько раз проходили. Сашке – хоть бы хны, даже после той аварии. С Сашкой мёртвую петлю делай. Вот сейчас прилипла и смотрит в боковое стекло – может полдня смотреть – и ничего.

– Рыбное... – бормочет она, – Тут что, рыбы много?

– Рыбы много будет под Астраханью, – отвечает Марина и, щёлкая жвачкой, снова идёт на обгон, – Сань, поправь Ваньке ремень, а то я отсюда вижу, что он у него перекрутился.

– Не называй меня «Саня»! Я терпеть этого не могу! – огрызается Сашка и тянется к Ваниному ремню.

Сегодня утром Марина проснулась раньше будильника. Без сколько-то пять уже светлым-светло, ведь страна теперь всегда живёт по зимнему времени. Глеб спал, и при том крепко – не елозил, не ворочался с одного бока на другой и не скрипел зубами. Это означало, что заснул он совсем недавно. Несмотря на несусветную рань, было понятно, что и сегодня предстоит жара. И если для Глеба с его прибалтийскими корнями это было мучением, то Марина от жары не страдала. Видимо, давали о себе знать дед с бабкой

по матери – донские казаки, бежавшие от войны на Восток и осевшие там, где теперь на карте красуется жирный кружок с названием «Астана». Поняв, что больше не заснёт, Марина стала рассматривать лицо, которое последние двенадцать лет видела каждый день. Волосы у Глеба продолжают редеть – лоб стал ещё немного выше, а черты лица как будто заострились. Под глазами – мешки, хотя кожа вроде бы упругая и светлая. Вполне себе ариец, если бы только волосы чуть светлее. Впрочем, Марина прекрасно знала, что, в отличие от своего младшего сводного братца, Глеб никакой не ариец. На одну половину латыш, на другую – татарин, не просто азиат, а кочевник, правда, родного отца он в глаза не видел. Это – один из болезненных семейных эпизодов.

– Куда ты перестраиваешься! – вскрикивает под боком Глеб. У Марины невольно дёргается рука, но она удерживает руль и возвращает машину в полосу.

– Вот сейчас сядешь и сам поведёшь. А я тебе буду под руку говорить: «впереди грузовик!», «впереди камера», «впереди то, впереди сё!». Как мужики паниковать любят – я просто фигею!

– Ты за рулём, а не в своей эфирной аппаратной! И сзади тебя – двое детей. Разницу просекла?!

Лёжа в постели напротив него сегодня утром, она ещё раз спросила себя и сама ответила «да». Об этом пока никто не знает, кроме них двоих, и они поступают, как надо: едут в свой последний совместный отпуск, чтобы там,

в низовьях Волги, обо всём рассказать сначала детям, а затем и всем остальным. Вчера, в супермаркете, Марина, конечно, не удержала себя в руках, и сейчас ей было стыдно. Легко взрываясь, она так же легко и отходила. Двенадцать лет брака. Первые два года – съёмная квартира в Северной Москве, в Метрогородке, под плоской и временами текущей крышей девятиэтажки, трамвай с табличкой «Детский санаторий» на лобовом стекле, который, слава богу, ходил по выделенке, новорождённая Сашка, ревушая на раскладном диване.

А ещё – свекровь... Благообразная латышка, тоже светловолосая, как арийка. Улыбаясь, она показывала едва ли не все свои ровные белые зубы. Видимо, улыбку Глеб частично унаследовал от неё. И эта благообразность поначалу просто сбивала с толку, а затем начала раздражать. Марина думала, что свекровь следит за ней двадцать четыре часа в сутки, оценивает каждое её движение, каждый поступок, а улыбается всё презрительнее и не очень-то пытается это скрыть. Лыбится и смотрит в окно, запахивает плащ, раскрывает зонт...

Северная Москва всегда казалась дождливой, может быть, потому, что именно такой Марина увидела её в самый первый раз. Она прилетела в Шереметьево – уже через несколько лет после Воссоединения, – в этот некогда главный аэропорт гитлеровской Москвы. В отличие от южномосковских Внукова и Домодедова, сюда не ходили электрички, поэтому

добираться пришлось по серому загородному шоссе с мокрыми обочинами, вдоль которых плохонькие деревянные домишки чередовались с двадцатиэтажными «мастодонтами». Дождь лил почти все дни, несмотря на то, что было лето. По Красной площади – бывшей *Фюрерплац*<sup>11</sup> – разгуливали толпы туристов под зонтами. Спустившись вниз, к реке, Марина уткнулась в кусок колючей проволоки, оставленной вдоль набережной. «Московская стена», – прочитала она, задевая своим зонтом сразу несколько чужих, – «1961 – 1989». А потом поднялась на мост и зашагала на юг, на тот берег, который знала довольно хорошо, потому что несколько раз приезжала туда в детстве. Дождь не прекращался, и тут у неё как назло сломался зонт. Вымокшая, она стояла на мосту и ёжилась.

«Лета у нас в этом году нет», – услышала она с собой рядом женский голос.

Невысокая полненькая северянка в очках под капюшоном.

«У вас, на Востоке, теплее. До вас не доходят западные ветра. А к нам они несут дожди. Через Петер. И всё перемещивается: холод на западе с жарой на востоке. Это называется „западный перенос“...»

Марина замешкалась, размышляя, что бы ответить, но северянка уже сорвалась с места и засеменила вперёд, к своему берегу, и её серый плащ почти слился с дождём. Марина

---

<sup>11</sup> Площадь Фюрера (нем.)

решила, что стоит попробовать здесь пожить – хоть на том берегу, хоть на этом.

Лет через десять после того дождливого дня они с Глебом и годовалой Сашкой переехали в Ясенево. В дом, стоящий почти на том месте, где когда-то проходила граница Третьего Рейха и крохотного анклава побеждённой России. Баскетбольное кольцо во дворе, новая машина...

Марина чувствует резкий толчок, и на табло загорается значок «ошибка двигателя».

– Ох, ё... – она не слишком-то боялась материться в присутствии детей. Машина дёрнулась, и внутри что-то застучало и затарахтело.

Ещё несколько толчков – и они на обочине. Фары мигают, будто гирлянды на новогодней ёлке. Глеб сидит рядом бледный, как кусок ватмана. Зачем-то вцепился в ремень. Если он в чём-то и любит скорость, то только не в езде. Когда он садится за руль, Марина чувствует себя инструктором, которая следит за очень усердным и ответственным учеником, но потом откидывается назад и засыпает.

– Приехали, – кричит Глеб, вылезая наружу.

Только девятый час утра, а от асфальта поднимается духота, и солнце всю шарашит сквозь тонкие листья берёз, торчащих у обочины. Марина хлопает дверцей, выплёвывает жвачку и поднимает капот.

– Уровень масла вроде нормальный.

Глеб усмехается и закуривает. Привычка, которая всегда

правилась Марине, теперь вдруг кажется отвратительной.

– Ты ещё дворники проверь. Наверняка главная проблема в них...

– Может, ты не будешь курить при поднятом капоте?!

– И ты сразу поймёшь, в чём дело?

– Ну а ты не хочешь разобраться?! Хоть бы раз, а то чуть паника – сразу за сигарету!

– Сигарета – фигня. Главное – за телефон взяться. Я бы не терял времени и вызвал аварийку. Мы тут сами всё равно по-нормальному не разберёмся.

Честность – это, безусловно, та черта Глеба, которая заставляла его уважать.

– Марк недаром говорил, что нам пора менять машину.

– Если бы мы их меняли с такой же частотой, как Марк, нам бы пришлось жить на съёмной квартире.

– Думаю, скоро итак придётся...

– Мам, у нас привал? – Ваня кричит через опущенное стекло, стремясь вырваться наружу.

– Посиди ты спокойно хоть немного! Не видишь – мама мотор проверяет! Сашка одёргивает брата, который пытается вылезти чуть ли не в окно.

За дочь, конечно, беспокоиться не стоит, – недавно решила Марина, – она поймёт родителей, в этом можно не сомневаться. С Ванькой будет сложнее. Он всё «мам» да «мам», но к отцу очень привязан. Так же рассеян и временами не по возрасту колюч... Марина понимает, что уже пару ми-

нут смотрит то на измеритель уровня масла, то на поднятый капот.

– Мам! – кричит Ваня – ему, наконец, удалось выбраться из машины, и он со всех ног бежит в Марине, – А мы поедem дальше? Мы не будем возвращаться домой? Я не хочу домой!

– С дороги отойди, – спокойно, но сурово говорит Марина. Точно таким же тоном она говорит: «первая камера!», «мотор шапка!», «тридцать секунд до конца сюжета!» – С дороги отойди, я сказала! К отцу отойди!

Глеб отшвыривает сигарету в придорожную канаву и протягивает Ване руки. Когда сын был младше примерно вдвое, он жить не мог без того, чтобы отец не поднимал его «высоко-высоко», к самому потолку, хотя Глеб – отнюдь не каланча, всего каких-то метр семьдесят шесть. На своих широких псевдоарийских плечах он таскал Ваню по всему дому, а тот хватался за люстры, дверные проёмы, антресоли, – всё, что попадалось на этом верхнем эшелоне. Сейчас, пока Марина выискивает в телефоне номер местного эвакуатора, он тоже хватает отца за шею, но Глеб на провокацию не поддаётся. Пока Марина ведёт переговоры с аварийкой, Ваня переключает внимание на новый объект.

– Пап, а это кому памятник?

– Жителям Рязани, которые защищали город от Гитлера.

– А зачем?

– Ну... как это зачем? Они не хотели, чтобы Гитлер их завоевал.

– А он всё равно завоевал, да?

– Завоевал...

– А зачем?

– Ты писать не хочешь? Вон, иди за берёзу, пописай.

Перескочив канаву, Ваня скрывается за берёзой. Мимо с рёвом и грохотом проезжает фура, так что, кажется, началось землетрясение. Марина закрывает капот. Фары мигают и издают при этом какой-то еле слышный звук. Саша вылезает из машины, молча подходит и становится рядом.

– Аварийка сказала, приедет в течение сорока минут... Тем, кто проголодался, предлагаю пикник на обочине. Вон, Ванька уже устроился под берёзкой...

То, что идея, мягко говоря, не фонтан, все понимают, как только перелезают через придорожную канаву. Оказывается, что под берёзами, в лёгкой тени, полным-полно комаров и какой-то мелкой мошки. Такая водится на топких сибирских болотах, куда без москитной накидки вообще лучше не соваться. Они всё же вынимают наспех сделанные вчера вечером бутерброды, достают бутылки с водой.

«Мы сломались», – пишет Марина, размахивая вокруг себя другой рукой с бутербродом. Марк отвечает почти сразу: «За рулём была ты или Готтлиб?»

– Пап, так зачем Гитлер Рязань завоевал?

– Он не только Рязань завоевал...

«Я Ваню посадила, если тебе так интересно».

– А что ещё?

– Он почти всю Европу завоевал и огромную часть России – до самой Волги.

– А зачем?

– Может, ты лучше с чёрным хлебом возьмёшь, не хочешь?

«Вы хоть до Рязани-то доехали?»

– Пап, а это ведь настоящие пушки? – вступает с набитым ртом в разговор Сашка.

– Конечно, настоящие!

«Почти. Осталось метров триста»

Марина поднимает голову и смотрит на памятник: солдаты, взявшись за руки, выступают в сторону запада. Над ними – купол православной церкви. Перед ними, на широком постаменте, – три зенитки военных времён.

– Пап, а Гитлер Сибирь тоже завоевал? – не унимается Ваня

– Сибирь не завоевал. Американцы помешали.

Глеб снова закуривает, и до Марины доносится табачный дым. Теперь она отмахивается не только от комаров, но ещё и от него. Курить ей пока не хочется.

«Капот открывала?»

– Мама, а Симбирск Гитлер завоевал?

– Нет, – машет рукой Марина, – Я разве тебе не рассказывала?

– Симбирск тоже американцы завоевать не дали, – добавляет Глеб.

– А почему?

– Они не хотели, чтобы Гитлер завоевал Россию.

– Почему?

– Потому что иначе он потом бы и их завоевал...

«Я уже вызвала аварийку. Ждём...»

До Рязани Марк «долетает» часа за два с половиной. Выскакивает из своего внедорожника – весь такой лохматый и светлобровый. Только тёмно-болотного мундира с фуражкой не хватает. «Оккупантик», – думает Марина, и ей вдруг становится смешно. Она сидит на добротной деревянной скамейке около автосервиса – такой, какие в последние годы расставляют на пешеходных аллеях и мощёных площадях перед торговыми центрами. Торговый центр – вот он, рядом. Марина отправила туда Глеба с детьми. Мастер сказал – работы тут часа на три. Слетел ремень ГРМ, плюс ещё тормозные колодки, плюс покрышки. Всё это вроде бы не так долго, но заказов сегодня много, вы поймите, у нас небольшая очередь и всё такое... Подойдя, Марк чмокает Марину в щёку.

– А Готтлиб где с детишками?

– Попкорн едят. Или на каруселях катаются... – она кивает на громаду магазинов, где у самораздвигающихся стеклянных дверей теснится длинный ряд сверкающих на солнце тележек, – Ты на самолёте, что ли? У твоего джипа вместо колёс крылья?

– Хо-хо! На мотоцикле было бы быстрее...

Марк подсаживается рядом и ещё раз чмокает Марину.

Она усмехается.

– Тебе чего так весело?

– А чего мне, плакать, что ли? – она закидывает ногу на ногу, обнажая загорелую щиколотку. – Я так и не поняла, ты завтра едешь в свой Новосиб или опять передумал?

– Пока не передумал, но у меня ещё есть на это время, – жеманно улыбается Марк.

– Что хоть за контора?

– Одна из крупнейших строительных контор Восточной России, – сказочно шепчет он.

Марина хмыкает.

– И как ты нашёл вакансию? На сайте у них, что ли?

– Нет. Для начала я нашёл нужных людей, которых мне рекомендовали. А нужных людей найти сейчас не проблема! – отчеканивает он.

Просто какая-то сцена из бандитского сериала девяностых. Марина не удивилась бы, если бы в следующую секунду он вынул из-за пазухи пистолет.

– Тебе так охота поработать на стройке? Ты этого ещё не пробовал?

– А тебе совсем не охота попкорна?

– Неа... – Марина зевает в голос и при этом широко расставляет руки в стороны.

– Ну, рассказывай: как у вас прошло утро?

– Мы проснулись хер знает во сколько, вымыли головы...

– Так...

– Спокойно: я не успела. Вымыл Готтлиб и дети. Я-то и так могу перетоптаться... – она мотает головой и запускает руку в волосы, как в рекламе шампуня.

– Особенно на скорости сто двадцать.

– Пару раз доходило до ста сорока. Готтлиб нервничал.

Марк усмехается и тоже запускает руку в свои густые светлые волосы, отдающие рыжиной.

– Я давно говорил, вам надо менять свой драндулет.

– Не хочу я менять драндулет! У меня с ним приятные воспоминания связаны.

– Хо-хо! – смеётся Марк на всю громкость, Марина достаёт сигарету, чиркает зажигалкой и дымит, – Это мне тогда нужно было бы коллекцию собирать всякого старья на колёсах. Пойдём, посмотрим, что они там наловили в твоём душевном драндулете!

Выясняется, что колодки и покрышки (кроме единственной) выдержат ещё не одну сотню километров, так что мужики, ковыряющиеся под Мариной машиной, после наведённой Марком ревизии ощетиниваются и начинают говорить сквозь зубы.

– Коробка передач у вас тоже на ладан дышит. Ещё немного – и... – первый мужик цокает языком и, прищурясь, склоняет голову.

Второй работает молча.

– Ха, конечно, она же ниже пятой вообще никакую передачу не признаёт. Только что не трогается с неё! – подмиги-

вает Марк.

– Вам её нужно хотя бы отрегулировать! – вздыхает мужик так, будто перед ним – больной с газовой гангреной.

– Регулируйте! – машет рукой Марк, – А то она до Астрахани не дотянет.

– До Астрахани? – усмехается первый, – Смело! Я бы и до Тамбова не отважился. Второй молчит, взясь с какими-то инструментами.

– Она – девушка рисковая. Ей и до Байкала не слабо.

– До Байкала и мне было бы не слабо, – мужик вытирает рукавом лоб, – По их дорогам можно хоть босиком.

– Я вам тут не слишком мешаю? – Марина складывает руки на груди и делает несколько шагов.

Если бы у неё были туфли на каблуках или шпильках, на весь ангар раздалось бы «цок-цок-цок». Но на ней – оранжевые кроссовки, которые лишь поскрипывают, когда она наступает на гладкие бетонные полы. Кажется, крикни ей «старт!» – и она пробежит километров сорок и ничуть не устанет. Только поправит чуть растрепавшиеся волосы.

– До Астрахани я почему-то так и не добрался, – Марк достаёт из кармана резинку и собирает волосы в хвостик.

– Левый берег симпатичный, правый – дерьмо! – подаёт, наконец, голос второй. Всё так же сквозь зубы, повернувшись спиной к Марку.

– Главное – рыба есть, – вскидывает голову Марина, – Глебу другого, по-моему, не нужно.

– Ты рыбачка, я рыбак... – бормочет Марк, – А что, разве Астрахань была разделена?

– Не была она разделена, – крихтит второй, – Просто на левом берегу деревни были, которые после Воссоединения «пристегнули» к городу. У меня тётка там жила. Как стояли бараки – так и стоят.

– Может, мне в Астрахань податься, а не в Новосиб? – Марк широко потягивается, – Там хоть тепло, как на Рейне.

– Терпеть не могу ваш Рейн, – морщится Марина, – одни заводы, и половина не работает.

– Хо-хо! – принимает вызов Марк, – А замков ты там не приметила случайно?

– Попался один какой-то по дороге. С обрубленной башней.

Она снова запускает руку в волосы. Глеб когда-то просто млел от её длинных волос, но затем они начали сечься, ломаться, местами сесть, да и просто надоели. Несмотря на Глебовы протесты, Марина всё же подстриглась, и волосы у неё теперь примерно такой же длины, как в старших классах школы.

День разгорается и разгорается, проникая даже сюда, в тень автомастерской. После ледяного июня, с градом, метелями и ураганом, наступившая жара кажется запоздалым подарком. Вот только Готтлиб ноет и ноет третий день подряд. Его бы в Уренгой отправить. В детстве Марина была там один раз. Отец взял с собой в вахтовый посёлок: двух-

этажные разборные здания, соединённые коридорами, машины-вахтовки во дворе. В них забирались на высоту человеческого роста. Колеса огромные, в комьях налипшей грязи. В фургоне – скамейки, как в старых автобусах. Сидишь, прижавшись носом к стеклу, и смотришь на все вокруг с верхоуры. «Гитлер бы сюда всё равно не дошёл», – бормотал отец. – «Увяз бы в болотах, подонок...» За окном было только два цвета: серый и зелёный. Выйдешь – и тебя облепят комары. Отец много лет добывал нефть, после того, как решил забросить семейный бизнес по продаже унитазов. С тех пор он месяц жил дома, следующий – на вахте. Однажды он так и не вернулся, и в Маринину жизнь вошло словосочетание «Другая семья».

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.